

ПЕТР АЛЕШКОВСКИЙ

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ

Петр Алешковский

Обратная сторона луны

«Автор»

2010

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Алешковский П. М.

Обратная сторона луны / П. М. Алешковский — «Автор», 2010

ISBN 978-5-699-43856-3

«Обратная сторона Луны» – новая книга Петра Алешковского, известного писателя, дважды финалиста премии Букер, обласканного критикой и читательским вниманием. Виртуозный стилист, Алешковский в этой книге предстает мифотворцем и волшебником: силой воображения он населяет реальный город Балашов невиданными существами. Бок о бок с людьми здесь живут демоны и домовые; цыгане и таинственная секта молокан, которую в свое время искал Борис Пастернак; готы, изучающие могильные склепы; пчеловод-философ, который добывает божественный мед Персефоны, царицы мертвых; оборотни и даже ведьма, заключившая сделку с красавицей. Часть этих историй уже знакома аудитории журнала «Русский репортер», где Петр Алешковский ведет колонку. Сочная, образная, увлекательная литература в лучших традициях Эрика-Эмануэля Шмитта, Хулио Кортасара и Габриэля Гарсии Маркеса!

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-43856-3

© Алешковский П. М., 2010
© Автор, 2010

Содержание

Обратная сторона Луны	6
Собачка	6
Часть первая	8
Доля	8
Инкубы и суккубы	10
Ачхут	12
Fatal	15
Три тени	17
Мед и молоко	19
День рождения	21
Сука	24
Последний из молокан	26
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Петр Маркович Алешковский

Обратная сторона Луны

© П. Алешковский, 2010

© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2010

Обратная сторона Луны

Повествование в отмеренных объемах

Ольге Лебедушкиной

Собачка

У истории, без сомнения, есть начало. Вопрос: с какого события начинать отсчет? Для меня это – изгнание из Рая, для ученых, возможно, Олдувайский человек. Время – непрерывно и хаотично лишь на первый взгляд. Оно дробится на мелкие составляющие, которые, в свою очередь, дробятся и дробятся еще. В результате в остатке остается время одной жизни. Она – вселенная, неисчерпаемая и бездонная, человек, ее проживающий, не в состоянии представить, что из его личного опыта важно для истории, а что необходимо только для него одного.

Рожденный в семье археологов, я провел много сезонов в поле. Я не стал ученым – составлять таблицы найденных вещей, чтобы выйти на обобщение, скрупулезная кабинетная работа по добыче маленькой корпускулы знания о прошлом всегда казалась мне скучной и почти бесполезной. Уяснив в университете, что порой и письменный документ врет, я привык доверять только воображению. История кажется мне пульсирующей линией, на которой время от времени возникают энергетические взрывы, приводящие к войнам, поражениям и триумфальным победам. Они-то и тянут клубок последующих событий, пока не накапливается энергия для нового взрыва, который, случается, сметает с географической карты целую цивилизацию.

В 1969 году мама взяла меня в экспедицию в город Пронск Рязанской области. Копали древнерусское городище, сожженное татаро-монголами. Кроме археологов в экспедиции трудилась Елена Гермогеновна, старейший остеолог страны. О костях найденных животных она знала все. Елена Гермогеновна разглядывала какую-нибудь мелкую косточку, как ювелир – редкий камень, и ворковала:

– Клык бобра, смотри, какая редкость. Это тебе не свиной, этих вон – целая куча.

Кости были красивые: толстые и массивные, тонкие и изящные. Похожие на терки хрящи осетровых, полуистлевшие бычьи рога с неровной шершавой поверхностью, какой бывает кора у очень старых дубов, различные зубы – плоские маляры-долотца, страшные, покрытые кроваво-коричневым налетом лошадиные коренные, выступающие из челюсти подобно зубьям хитрой и злой пилы, серпообразные клыки диких вепрей, водившихся здесь в изобилии... Я помню их формы и сейчас.

Яма раскопа становилась все глубже, пока не дошли до времени нашествия. Кисти и совки рабочих расчистили маленький сруб – остаток баньки, два на два метра. У дверного порога лежал скрюченный скелетик. Мальчишка тянулся к щели, к спасительному воздуху. На его плечах покоилась обгоревшая балка перекрытия. В почерневшем дереве застряли острые наконечники татарских стрел. Дверь в баньку была заперта. На улице, у порога, нашелся закрытый на ключ замок, а невдалеке и сам ключ. У порога, уткнувшись носом в запертую дверь, лежала большая собака. Не бросила друга, погибла с ним в огне. Возможно, они звали друг друга, сжимаясь от страха, вздрагивая от искр, сыпавшихся с полыхающей крыши.

Когда останки были расчищены и готовы к фиксации, Елена Гермогеновна отправилась на раскоп. Она уже много слышала о находке. Длинная, сухая, с прямой спиной, академическая старуха подошла к краю раскопа и впилась глазами в яму. Вдруг она вскинула руки и захлопала в ладоши, как девочка, увидевшая карусель с деревянными зверями:

– Ой, собачка! – взвизгнула она.

Вечером, за ужином, она объясняла:

– Скелетов мальчиков и девочек – пруд пруди, а вот целый собачий поискать, это третий из мне известных.

Много лет спустя я прочитал отчеты о той экспедиции: перечисление слоев, находки, разбитые по категориям, статья о стаде Пронска XIII века. И несколько сухих слов о разыгравшейся некогда трагедии.

Говорят, человек творит историю. Но ведь и история распоряжается человеком по своей прихоти, запирает в баньку, дабы уберечь от врагов, а затем превращает ее в огненный факел и сжигает ни в чем не повинную душу. История, как заметил Чоран, без сомнения, рок, фатум, неумолимая и грозная судьба, преследующая человечество. Скелетами мальчиков и девочек вымощен каждый отрезок времени. Сколько их было, безголосых, несчастных, похожих на несчастного пса, что не ушел в страшную минуту от любимого друга и погиб, свернувшись клубком под дверью баньки, ставшей им обоим погребальным склепом?

Я доверяю воображению. Оно позволяет прочувствовать ушедшее, понять то, что не в состоянии понять наука. Я не отрицаю необходимости ученых штудий, даже преклоняюсь перед ними. Они напоминают мне пронского пса, в преданности и бесстрашии отринувшего страх смерти. Наука делает свое дело, копит знания о времени, которое поглощает все, и науку тоже. У истории, без сомнения, есть начало, но вряд ли есть конец. Впрочем, он никому и не важен.

Часть первая Балахонье

Доля

С Мишкой-Долей толстый московский журналист познакомился давно. Бампер грузовика раздробил Доле правый коленный сустав. Он вышел из больницы с корявой негнушейся ногой и гарантированной пенсией по инвалидности. Хромота, наградившая его кличкой, не мешала Мишке бесстрашно бросаться в драку или ковылять по городу в поисках любимой. Зинка проводила вечера на танцплощадке и в кафе «Встреча», где скоро стала работать поварихой. Говорят, он как-то застал ее за мытьем лестницы. Платье задралось, обнажив аппетитную округлость, на которую Мишка тут же наложил свою огромную лапу, за что получил мокрой тряпкой по морде.

– Не твое – не трожь! – отрезала Зинка.

Он понял намек и женился на ней. Вдвоем гулять стало веселее. Колька, его брат, вернувшись из армии, поселился в доме, отписанном им с Мишкой покойной матерью. Завел жену и быстро настрогал шестерых ребятишек. Если Мишка и Зинка пили и обстоятельно закусывали, то Колька с женой дули самогон, как чай, а за коркой хлеба бегали к соседу.

Рядом с деревней текла река, где братья ловили рыбу. Колька – на прокорм семье, Мишка – на продажу, дети у Зинки не получались.

Двадцать пять лет тому назад журналист-москвич, приехавший в гости к тетке, похмелил Долю в пивной у вокзала, и он в благодарность позвал его на рыбалку. Так началась их дружба. Мишка с Зинкой встречали москвича в деревне. Втроем, тайком от Кольки, они распивали бутылочку в бане, затем собирали снасти и шли на реку. Ставили спиннинги на сазана, разжигали костер, жарили шашлыки из «сэкономленной» на кухне баранины. При пустоте советских прилавков они гуляли как номенклатура. Случалось, коптили в бочке по двенадцать кур и тут уж кормили всю большеротую компанию племянников и племянниц. Колька со своей подходили глотнуть на халяву, получали дозу и возвращались в дом.

Журналист приезжал в Балахонье к тетке каждый год в августе. И начинались их вечера на реке. Он замечал, что с каждым годом Мишка с Зинкой пьют все хуже и тяжелее. Зинка принимала почти вровень с мужем, потом заползала в палатку, валилась на спальник и, заснув, мощно храпела. Мишка обычно вырубался у костра. Гость уходил к реке, проверял снасти. Туман стелился над водой, она была густой и плотной, леска резала ее, как масло. Но стоило пробиться первым лучам солнца, как вода обретала прозрачность. Он подолгу глядел на живые зеленые камни, застывшие на мелкоте среди стайки злобных щурят, на шевелящиеся длинные пряди водорослей. Водоросли нежно касались камней, словно вдовы, оплакивающие покойников. Вернувшись, он замечал, что друг уже уснул в палатке, зарывшись головой в огромные Зинкины сиськи.

Компания скоро ему наскучила. Лет десять толстый журналист в Балахонье не показывался, писал репортажи, колесил по стране. Но в Новый год всегда раздавался телефонный звонок – Доля поздравлял с праздником.

И вот он позвонил летом среди ночи. Пьяный. Москвич с трудом разобрал, что Зинку разбил инсульт, она обездвожелась. Приехать ему удалось только через год. Старые друзья жили у комбината плащевых тканей, куда лет семь назад Зинка перешла работать ради двухкомнатной квартиры. Мишка остеклил ей лоджию. Еле-еле переставляя ноги, Зинка добредала туда покурить. По стенам в комнатах он набил дверные ручки, за которые жена держалась, совершая вылазки на воздух. Журналист был уверен, что найдет их совсем опустившимися.

Каково же было его изумление, когда он увидел убранный дом, блестящий кафель, Мишку, курящего «Приму» из длинного наборного мундштука, Зинку, возлежащую на взбитых подушках в опрятном плюшевом халате. Над кроватью висела иконка в латунном окладе и маленькая красная лампочка под ней.

– По типу лампадки сделал, времени зимой много, – сказал Мишка.

– На рыбалку выбираешься?

– Морозильник набил. На инвалидную пенсию много не полопаешь.

Он купил все, что они когда-то любили, и они устроили пир. Водки на столе не было.

– Только на Новый год себе позволяю. Неделю пью, неделю похмеляюсь, и баста. Я ведь Зинку в ванной мою, как младенца.

Внешне он мало изменился. Правда, три мощных линии на лбу стали еще глубже, но они придавали его бородатому лицу почти иконописную весомость.

С мая Мишка пропадавал на огороде, сажал на своей половине картошку и зелень, а не лук и огурцы, как было заведено раньше.

– Чего ж так?

– Коленьке на закуску? Сам не сажает, только топором зарубить грозит, завидует, что я живу в городе.

На другой день съездили в деревню. Братец сжался, как сморчок, жена превратилась в черную головешку, на которой горели угольками глаза. Коля выклянчил пятьдесят рублей и послал жену за спиртом. Журналист вышел в огород. Тщательно обработанные гряды стекались к аккуратному сарайчику, где Мишка хранил инвентарь, а в жаркие дни пережидал на топчане полуденный зной.

– Без картошечки мы б загнулись, как и вся Россия. Да, погуляли в свое время, пора на покой.

Вернулись домой, разъели торт «Наполеон».

– Ну, ублажил, вовек не забыть. – Зинке, похоже, стало хорошо. – Своди его, папочка, пусть полюбует.

– Пожалуй.

Он кивнул приятелю и похромал в прихожую. Там висело старинное зеркало, амальгама вздулась буграми и потемнела, интерес представлял только оклад из резного дуба. В первый день толстый журналист себя в нем не разглядел, стекло ничего не отражало. Мишка тогда велел ему пользоваться тем, что в ванной. На вопрос: «Откуда дровишки?» – сказал, что подарил один доктор. Теперь он подошел к зеркалу, приложился, словно хотел его поцеловать и сказал:

– Дуй за мной.

Шагнул в него и пропал. Москвич шагнул следом.

В зазеркалье он разглядел только песок, на котором стоял один под бездонным небом. Мишки нигде не было видно. Пустыня тянулась до горизонта, солнце нещадно палило, голова вдруг закружилась. Он не понял, как снова оказался на кухне. Мишка уже стоял у плиты, лицо его светилось.

– Понравилось?

Журналист ошалело посмотрел на друга.

– Понятно. В первый раз и у него так было, привыкнуть надо, не переживай, – посочувствовала Зинка.

– А ты-то бывала там?

– Меня зеркало не пускает, я абортами трех детей сгубила. Может, еще и пустит когда...

Она не договорила, но не отвела от гостя выцветших глаз. В них он прочитал смирение, какое видел только у неграмотных крестьянок.

Ночью, выйдя по нужде, толстый журналист заглянул в их комнату. Под иконой горела красная лампочка. Слегка подкрашенный ею полумрак рождает в душе чувство тревоги. Супруги спали безмятежно, как дети, обняв друг друга, Мишкина голова покоилась не на пуховой подушке, но на роскошной Зинкиной груди.

На следующий день перед отъездом гость выразительно поглядел на зеркало. Мишка поймал его взгляд:

– Часто нельзя, жить не захочешь. В другой раз приедешь, сходим.

Всю дорогу домой он думал о том, что, когда мы говорим, будто знаем какого-то человека, мы, безусловно, себе врем.

На Новый год Доля не позвонил. Попасть в Балахонье журналисту удалось только в августе. Дверь открыла Машка, старшая Колькина дочка. Рассказала, что Зинка умерла вскоре после его отъезда, во сне. Мишка неделями ковылял по квартире и беззвучно плакал. Исхудал, как скелет.

– Потом не выдержал, наверное, ушел. Мы пока здесь живем.

Москвич спросил про зеркало.

– В подвале. Забирай, если надо.

Зеркало стояло у стены. Его явно повредили при переноске – по стеклу разбегались трещины, похожие на лапки паука-сенокосца. Казалось, тронь его, и оно разлетится на осколки. В подвале пахло подопревшими овощами и сухой пылью, над входом горела сиротливая лампочка. Он вгляделся в ржавую амальгаму и увидел стоячую воду, как в яме, где они ловили сазанов. Вода почему-то была абсолютно прозрачной. На покрытых мхом и зелеными водорослями камнях лежало что-то длинное и белое. Вдруг журналист понял, что это скелет. Нижняя челюсть была чуть приоткрыта, словно человек смеялся-смеялся, да так и окаменел.

Москвич поспешил на улицу. Небо затягивали свинцовые тучи. В висках застучали тревожные барабанчики, в глазах на миг потемнело. Он шел по улицам, тщательно обходя блестящие лужи – боялся поймать в них свое отражение. Дверь в зазеркалье закрылась навсегда, но окружающий мир не изменился. Из-под туч налетел стылый ветер, ударил в лицо. Одет толстый журналист был, как всегда, не по погоде. Нагнув голову, он шагнул около часа, пока не уперся в железнодорожный вокзал.

До поезда оставалось два часа. На проводах сидела нахохлившаяся галка и внимательно его изучала. Он посмотрел на нее с таким же нескрываемым интересом и подумал, что за чем-то оказался связан с этим городом и, значит, обречен возвращаться сюда, а вот зачем – непонятно.

Инкубы и суккубы

В этот раз толстый московский журналист добирался до Балахонья поездом. В купе с ним ехала тетка лет пятидесяти, грузная, с тяжелым взглядом и отвисшим брюхом, укрытым синей блузкой с черными блестящими розами-аппликациями, приклеенными к легкой бязи горячим утюгом в захолустной китайской фанзе. На его предложение попить чайку тетка неожиданно согласилась. Проводница принесла кипяток, пакетики и два тульских пряника. С его молчаливого согласия тетка мигом умяла оба пряника и принялась рассказывать о Балахонье.

Город она ругала, жалуясь на отсутствие крепкой власти – две партии три года не могли поделить в нем командные высоты. Одни функционеры приписались к Единой России, другие, в пику врагам, к России Справедливой и, якобы заручившись поддержкой столицы, принялись с ожесточением мочить конкурентов. В результате улицы города покрылись колдобинами, проехать по которым могли разве что трактора, спиртзавод ежегодно сливал в реку аммиак, а гепатит и сифилис стали привычны, как простуда и насморк.

– Видели б вы нашу колбасу, – причитала тетка, – ее кошки не едят.

Потом она переключилась на личную жизнь: муж-пьяница ушел к молодой. Пришлось разменять двухкомнатную квартиру – единственное имущество, заработанное горбом на железной дороге, где она проработала всю жизнь.

– Да он мне теперь и не нужен, – гордо призналась она. – Как с квартиры съезжала, подруга мне посоветовала – возьми с собой домового. А я тогда про них ни сном, ни духом. Научила меня. Взяла я старые тапки, снесла на помойку, а новые выставила в коридоре и сказала громко: «Домовой-домовой, иди в новый дом жить со мной». Переехала, и секс стал не нужен.

Тут она гневно стрельнула глазами на попутчика:

– Не лыбсья. Заснула я, значит, на новом месте, а среди ночи он пришел.

– Чикаться?

– Слушай! Просыпаюсь, а кто-то сопит под боком. Занавеска колышется, свет лунный, как в мертвецкой. Смотрю – никого. Притворилась, что сплю. Опять засопел и ручищу волосатую мне на грудь положил. Я от страха чуть не обмочилась. Лежу. И так он ко мне притерся, теплый, волосики мне кожу щекочат. Правду подруга говорила – не страшный он, совсем как ребенок. И энергетика от него такая... Я словно в лучах хрустальных закупалась. Незаметно и заснула. Утром встала здоровая, скуку как рукой сняло, и все со мной в порядке, ни одышки, ничего, словом, дурного. На другую ночь опять под бочок подлез. Теперь все время приходит. А вы: секс, секс... Помешались все на сексе, раньше его не знали, а детей рожали.

Она запила свой монолог чаем, пожелала журналисту счастливых сновидений, залезла под простыню и вскоре захрапела.

Среди ночи журналист проснулся. Ему снился волосатый домовый с теткой, они занимались ровно тем, чего раньше не было и в помине, и при этом были жутко и истошно, как волки на луну. Вой не прекращался. Он понял, что воеет попутчица. Голова ее была накрыта простыней. Он потолкал ее в плечо, тетка перевернулась на живот, уткнулась лицом в подушку, звук стал тише. Москвич распечатал чекушку, жажнул из горла половину, пожевал еще мокрый пакетик с чаем и снова заснул.

Утром про ночное происшествие он, естественно, промолчал. Уже на подъезде к Балахонью тетка вдруг сказала:

– Сегодня в ДК железнодорожников будет мужской стриптиз, сходи, поглазей на наше непотребство.

Расставшись с ней, журналист испытал чувство, похожее на радость. На вокзале он взял такси и поехал в гостиницу. Принял в номере душ и отправился в город, на встречу с главврачом больницы Иваном Сергеевичем Тельных, который, будучи пастором баптистской общины города, совмещал врачебную работу со своей христианской миссией.

Главврач тут же включил видео и заставил посмотреть фильм об общине евангельских христиан. Большая часть фильма была посвящена Ивану Сергеевичу. Проповедь добра перемежалась советами, как сохранить здоровье, коллеги и друзья по работе рассказывали о том, какой замечательный специалист-хирург и одновременно добрый пастырь живет в их родном городе. Иван Сергеевич, похоже, метил в политические лидеры и нуждался в столичном пиаре. С благостной улыбкой жаловался он на падение нравов и повальную деградацию общества.

– Это конечно, – поддакнул журналист и рассказал про свою попутчицу и ее жизнь с домовым. Лицо хирурга-пастора вдруг окаменело:

– Дорогой мой, мы с вами люди образованные и знаем, что никакой это не домовый. У нас одиноких женщин и мужчин много, и все, замечу, все поголовно спят с тем, кого по невежеству называют домовыми.

– С кем же?

– Да с инкубами и суккубами! – Лицо его просияло.

Средневековое мышление главврача напугало журналиста, и он бежал, обещав продолжить разговор на следующей неделе. Долго слонялся по городу, заходил в магазины и убедился, что колбаса здесь, и правда, серая и липкая. Скрепя сердце, купил в «Магните» на вечер триста граммов «Докторской» и полкраюхи черного. Мужики запасались пивом и водкой. Небо заволокли тяжелобрюхие тучи, день кончался. Журналист поехал в ДК «Железнодорожник». Других развлекательных заведений в восьмидесятитысячном городе не имелось. «Стриптиз» начался ровно в семь. Бравые парни в подштанниках, курсанты летного училища, разбивали головой кирпичи, глотали огонь, бегали босиком по битому стеклу и страстно кричали на выдохе: «Хай!»

Журналист ретировался в гостиницу, где опять достал бутылку водки, жажнул сто граммов и закусил кружком липкой колбасы. Затем посмотрел в окно. Восковое лицо соседки по купе стояло перед глазами. Город готовился спать: пешеходы брели медленнее, чем днем, машины включили желтые фары. В Москве никто его не ждал, кроме кошки, оставленной соседям. Он загрустил, наверное, из-за мелкого дождика за окном. Бельевая веревка у забора провисла, белье затонуло в мокрых лопухах. Под козырьком ларька, подсвеченного елочной гирляндой, тусовалась молодежь, мат и гогот летели в распаханное небо. Ему вдруг захотелось плакать. Он уставился в кирпичную стену дома напротив, принялся считать кирпичи, сбился, налил еще полстакана. Приглядевшись, он заметил легкое колыхание воздуха над пятиэтажкой: нагретый за день кирпич отдавал тепло. На него накатило отчаяние, он чувствовал, что этот заштатный городишко хранил тайну, которой ни за что не желал делиться с бесцеремонно вторгшимся пришельцем.

В окне напротив крадущейся походкой на кухню вошел Иван Сергеевич Тельных. Он с трудом дождался, когда захрапит супруга, и украдкой начал творить нехитрый обряд, о котором приобщенные не рассказывают чужакам. Нагрел в глиняной миске козье молоко, сел перед ней на табурет и четко представил себе молоденькую рыжую деваху с распутными зелеными глазами. Изящно очерченные пальчики ног, перламутровые ноготки-ракушки, блестящая кожа, чуть красноватая, словно окаченная теплой струей из душа, упругий живот, гордо вздернутые груди с твердыми сосками. Обольстительная и юная, она обладала той зрелой красотой, что сражает наповал мужчин, лишая их рассудка. Сдерживая биение сердца, он напряг все мускулы тела и, постепенно расслабляясь, начал пропускать через молоко высвобождающуюся энергию, «вливая» ее в страстно желаемую форму. Суккуб получился, как всегда, на тройку с плюсом. Веснушки облепили все лицо, от чего оно выглядело золотушным, груди вышли отвисшими и маленькими.

Он прошептал: «Блюэгил синикле виктор, префект экзибитор пифагореан, канвас пла-сид дуане» и вдохнул в нее жизнь властным возгласом: «Твисе пар». Затем взял за руку и повел в ванную. Иван Сергеевич знал, что суккуб первой ступени недолговечен, а потому спешил. Включил свет и закрыл дверь на щеколду. Через полчаса, весь в поту, он проследовал в спальню. Золотушная девка стекла в сливную дыру козьим молоком. Жена лежала на кровати горой, обхватив руками толстую, как перина, утробу, и тихо подвывала. Иван Сергеевич воткнул в уши ватные фитили, повернулся на бок, прошептал молитву и спокойно заснул.

Ачхут

Молодые родители, устав слоняться по вокзалу в ожидании поезда, подвели к ней сына-дошкольника, наудачу. Обычно к ней приезжали по записи, но утро выдалось пустое. При виде коротко стриженной головы сердце сжалось в комок. Незаметно скрестила безымянный и мизинец, провела еще крепкой, сухой пятерней по густым волосам, отводя от себя сглаз. Взяла детскую кисть, прочертила по ладошке пальцем. Мальчишка зажмурился от щекотки и

засмеялся. Сильно вдохнула, и вдруг дыхание остановилось, словно на нее напали. Увидела. Его теплая рука не согрела вмиг остывшие пальцы.

– *Ачхут*, – едва прошептала.

Выдохнула с трудом. Воздух коснулся его длинных ресниц. Шипящее и непонятное слово напугало, губы парнишки дрогнули.

И решила, как в омут бросилась.

– Большой будет человек, – соврала родителям, еле сдержав дрожь в голосе.

Папаша расщедрился, протянул стодолларовую бумажку. Взяла молча, проводила их взглядом, беззаботных и веселых. Мальчишка уже держал родителей за руки и прыгал по квадратикам пола. Только по черным! Когда *видеиши* смешались с толпой, встала со стула, пошла. Цыганки потом уберут ее стул. Прошла мимо них – Лалы, Брии, Наты – как сквозь строй милиционеров, что уводили отца в тридцать девятом. Ни слова не сказала, губы сковало льдом.

До отхода поезда на Балахонье спряталась в каком-то закутке.

В купе легла на нижнюю полку, накрылась одеялом. Смежила веки, но не спала, боялась заснуть.

В купе зашли парень с девчонкой. Юные, лет по шестнадцать, лица накрашены мелом, ресницы и брови сильно зачернены, под глазами – синяки. У обоих. И ногти длинные, покрытые черным лаком. Черные плащи до пола, у парня бритые виски, у девчонки тоже. На груди амулеты в два ряда, запястья в татуировках-браслетах, похожих на письма чернокнижников.

Мальчишка предъявил билет на нижнюю полку. Так было не по закону. Не могла она лежать выше мужчины, даже если он и *видеиши* – чужой. Превозмогла себя, разжала губы:

– Милый человек, приболела я, уступи.

– Без проблем, засплю наверху.

Теперь все было правильно, она вздохнула и отвернулась к стенке.

– Теть, – пристала девчонка, – может, покушаете с нами, а потом погадаете? На смерть!

– Не умею я.

– Ну да, вы ж всегда на Павелецком гадаете. Я сколько раз хотела подойти, да почему-то боялась.

– И правильно делала. Зачем тебе смерть? Живи, любись со своим человеком.

Парень серьезно пояснил:

– Мы, бабуля, готы. Мы смерть зовем, потому что жизнь – только маленький полустанок, а мы на нем путники, ждущие своего поезда.

– Смерть сама приходит. Звать нельзя, грех.

Накрылась одеялом с головой, дала понять, что говорить больше не станет. Молодые ели шаурму и шушукались. Потом целовались. Какая им смерть? Не будь ее здесь, петушок бы курочку потоптал. Хотя, может, и нет, похоже, целая еще, робеет.

Она тоже робела, потом влюбилась. Тогда *бурхия* – старуха, что передавала ей *гьян* – знание, напомнила: нельзя им детей. Служишь людям – для жизни умри. Знание это было древнее, родилось еще до Христа, когда атурая, как они себя называли, жили в Ниневии и поклонялись богу Мардуку.

Парень, что хотел с ней гулять, нашел другую, через год его посадили, и он сгинул. Бурхия скоро умерла, она заняла ее место. Ее стали уважать в общине и бояться, как уважали и боялись старую. Знали, что живет по обету: ни соврать, ни зло навести права не имеет, но ведь люди порой и правды боятся. Боялись, а гадать приходили, особенно цыгане, с которыми айсорская община жила бок о бок. И теперь бояться. Цыганки на вокзале спросили сперва: «Куда уходишь?», а как не ответила, догонять не стали.

Лежала на полке, руки, ноги – ледышки, одеяло совсем не грело. Чуть только прикрывала веки, вставала перед глазами рука мальчишки. Теперь эта рука будет преследовать ее до гробовой доски.

Но почему же сердце, чуткое, помогавшее всегда, так подвело?

Смерть. Молодые и разрисованные говорили о кладбище, где сегодня ночью с друзьями вызывали дух какой-то кровопийцы Салтычихи и не дождались. Каких духов они ждут, во что играют? В детстве она тоже любила слушать страшные сказки о ракшасах – беспощадных демонах, пьющих человеческую кровь. Верила в них.

Потом девчонка раскинула карты Таро. Уши б ее не слышали – чистое Лалино или Бриино гаданье, но без их куража. Для цыганок обмануть чужого не грех – заработок.

В двадцатые община перебралась из Индии в Иран, к тамошним айсорам, но скоро, после курдского восстания, Мурадхан повел их дальше – в Россию. Осели в Гомеле на Цыганском бугре. Их и сейчас за цыган принимают. С цыганами сдружились – обе общины чужих не признавали, жили по своим законам. Но кровь не смешали, за невестами стали ездить в Урмию на Кубани, тамошние айсорки до сих пор славятся. Начали шить чуни из старых покрышек, на них и разбогатели. Потом стали заниматься валютой. За пять долларов давали червонец старой чеканки, за сорок рублей – доллар, цена роскошных туфель-лодочек. Сколько золота чекисты забрали тогда – ой-ой! Когда забрали отца, ей было пятнадцать. Она пришла к старшему и сказала: «Мы уходим. В доме смерть».

– Может, вернется, погоди.

– Нет, убили его.

Если в дом приходила смерть, его бросали. Потому и жили в хибарах, серьезно не строились. Тогда еще был жив дед, он старый дом и спалил, очистил опоганенное место. Через два дня отцов труп нашли в канаве – даже до города не довезли, пристрелили в лесу, как пса. Но золото он не выдал.

После того случая некоторые уехали в Москву. Для виду обувь чистили, а на деле занимались валютой. Три рода, пошедшие от Мурадхана, сбегали в Балахонье, к цыганам под бок. Здесь жили бедно. Не от хорошей жизни она в Москву подалась. Теперь, когда валютой на каждом углу торгуют, часть московских айсоров занялась наркотиками. Испокон века таких отравителей, что невинные души губят, из общины выгоняли как нечистых, *ачхут*. От этого греха уже не отмыться. Вот и она сегодня согрешила и стала нечистой. Но смолчит, даже епископу на исповеди не скажет. Зажмурила глаза и тут же заплескали страшные искры – такие же вились над сгоревшим домом. Но ее теперь и огонь не очистит.

В Балахонье домов уже не жгли. Оттого-то и смерть здесь рядом, ее всегда приманивает человеческое тепло. Но она не на кладбище обитает. Отводила не раз, только зря люди думали, что все может. Мало могла.

Вошла проводница, собрала билеты, приняв за цыганку, предупредила:

– Линейные через две остановки сядут.

– Спасибо. Я с паспортом.

Попила чаю, надеясь согреться. Куда там.

Девчонка нацепила линзы с черными точками... Кого напугать хочет? Настоящий сглаз от голубоглазых, это каждая айсорка знает. Спряталась под одеялом, но менты растолкали.

– Выходи, разговор есть.

Вышла, сунула ментам стодолларовую бумажку, от дурных денег надо быстро избавляться.

Всю ночь не спала, смотрела на луну, что скакала в тучах вслед за поездом.

Утром сошла в Балахонье. Побрела сквозь город. Вошла в дом, в комнатенке свалилась на тюфяк и проспала целые сутки. Утром отмылась в полуостывшей бане. Заплела косы, как в детстве. Повязала на голову платок, надела фартук, чтобы платьем случайно мужчину не задеть или еды не коснуться. Пошла в сарай, потеснила золовку. Стала печь лепешки, как пекла их ее мать.

С той поры больше не гадала. Передавать гьян девочке, что выбрала себе на замену, не стала. Община смирилась, с расспросами к ней не лезли.

С вечера ставила тесто. Разговаривала больше с ним, чем с людьми. Тесто поднималось хорошо. Она была его с живой радостью, как шлепают младенца по попке, сердце оттаивало, по телу разливалась теплота. Ненадолго. Холод теперь не отпускал ее даже у очага.

Хлеб у нее получался прямо загляденье – с твердой корочкой, долго хранящей запах дыма. И не черствел помногу дней.

– Все у нее получается! – сказал как-то старший, махнув стопарь самогону и заев его лепешкой.

Мужчины согласно кивнули и тоже выпили.

Fatal

Когда на табло над вокзалом загорелись цифры «20.42», с саратовской дороги выплыл автобус. Он опоздал на двенадцать минут. Fatal отметила: 12 минут. 12 было и колечек в Борисовом ухе.

Борис верил в магию цифр, считал, что случайностей не существует.

– Ты не всегда это понимаешь, можешь спутать причину со следствием, но, поверь, все предопределено, наша судьба расписана до конца наших дней.

В Балахонье с ней никто так не разговаривал. Разговор складывался сам собой. Они болтали в чате легко и непринужденно и не надоедали друг другу. Просиживали по полночи у экрана, темнота за окном, волнующие обоих темы: время, пространство, иные миры, смерть, одиночество. Они оба его испытали: он, потеряв родителей, она – любимую бабушку. Он нашел ее на форуме готического сайта, через «ЖЖ» выяснил аську и написал. Борис был его писк, в честь великого Бориса Карлоффа, сыгравшего Существо в старом фильме о Франкенштейне.

Скоро он стал приезжать утренним автобусом, а вечером она его провожала. У Бориса было красивое худощавое лицо и пронзительные черные глаза, которые он смешно закатывал, изображая монстра. День пролетал быстро. Несколько раз он не выходил на связь, и до следующего вечера Fatal была сама не своя, одиночество сдавливало, словно тисками. Когда на экране появлялись его позывные «Goths undead!», ее охватывало беспричинное веселье, и она посылала ему бесконечные смайлики. Он придумал сказку про вонючую собаку, стащившую осетра со стола мэра и возмнившую себя королевой помойки. Чего с этой собакой потом только не происходило!

И вот, когда должно было случиться самое важное, среди пассажиров его не оказалось. Из-за киоска с чебуреками, где она пряталась, вся площадь была как на ладони. Люди из автобуса разошлись по домам, автобус уехал. Покусывая губы, Fatal лихорадочно соображала. Разжала руку, мобильник упал в лужу, но, слава богу, не сдох. Борисов телефон молчал с утра. Договорились же накануне: в двенадцать в склепе у Лежнева. Этой встречи он сам добивался, и она наконец согласилась. Пятница, тринадцатое – вот на чем он сыграл. Настоящая готка теряет невинность на могиле ровно в полночь.

Когда полгода назад Fatal ездила к Борису на выходные в Саратов, Катька прислала ей эсэмэску: «Кто он?» Ответила коротко: «У него – большой». Катька принялась исступленно названивать, но она не отвечала на звонки, а потом в Балахонье рассорилась с подругой окончательно. Не очень-то и нужна, «цивилам» ее не понять, как и родителям. Те погрязли в бизнесе, по вечерам пропадали в кабаках, могли вдруг сорваться, например в Турцию: «Надо вывезти на море человечка из администрации». Бабла, конечно, отгружали, откупались своим поганым баблом. Возвращаться в «цивильную» жизнь, ценить вещи, которые не ценила сейчас? Дудки! Ghots forever! В тот приезд в Саратов, кстати, ничего не случилось – целовались без конца, и все.

Нет, автобус опоздал на двенадцать минут не случайно. Может, Борис проверяет ее на вшивость? Когда Fatal случалось закусывать удила, ее побаивалась даже покойная бабушка. Она тряхнула головой, вышла из-за киоска. Солнце садилось в далекие тучи, накрапывал мелкий дождик.

На кладбище она пришла в начале десятого. К воротам приткнулся «Москвич» с треснувшим лобовым стеклом. Домик сторожа был заколочен, поодаль валялась вверх дном собачья конура, кто-то дал ей хорошего пинка. Длинные тени старых деревьев истаяли, но сумрак еще не наступил. Черные птицы хлопали крыльями в кронах, устраиваясь на ночлег. Fatal пошла по главной аллее и скоро уперлась в кирпичный склеп. Покрытый ржавой железной чешуей купол походил на спину подземной рептилии, которой не хватило сил выбраться на божий свет. Стрельчатую готическую дверь за кованой решеткой охраняли два чугунных рыцаря на черных колонках. Над входом парила пухлощекая головка младенца с крылышками, у нее был отбит нос. Борис поменял замок на решетке, дал ей ключ. Она отперла решетку, толкнула двустворчатую дверь, та открылась с противным скрипом, похожим на голос школьного завуча. Заперла решетку изнутри, зашла в склеп и притворила двери. Все было знакомо – широкие каменные скамьи по бокам, две надгробные плиты, вмурованные в пол у стены напротив входа: Лежнев Поликарп Арсеньевич (1841–1913) и Лежнева Марфа Петровна (1852–1919) – утопленные в мрамор буквы и кресты над ними, заполненные стершейся золотой краской. Балахонский купец и меценат, убитый грабителями, лежал тут с законной супругой.

Со стены свисала лампадка, Борис подлил в нее масла и заменил фитиль. Без огня в склепе было темно, в узкие окна-бойницы залетал больше ветер, чем свет. Fatal подошла к фитилю зажигалкой, закурила. Расстелила на скамье походную пенку, легла на нее. Накрылась длинным готским плащом, с которым никогда не расставалась. Часы на руке показывали 21.29.

Телефон Бориса не отвечал. Вкрадчивый голос, просивший перезвонить позднее, разбудил тревогу, которую она все время гнала прочь. По спине пробежал озноб, мобильник в намокшем зеленом чехле показался ей скользкой жабой, она поспешила засунуть его в глубь рюкзака. Беспочвенный липкий страх подползал сквозь щели дверей, словно кто-то незримый проник в закрытое на ключ пространство и намеревался затащить ее под землю, поближе к зубам затаившейся там рептилии. Она встала. Походила из угла в угол. Сердце, сорвавшееся было в галоп, немного унялось. В стрельчатое окно-бойницу высоко под потолком, уже сочилась темень, ветер принес тучи, а с ними и сильный дождь. Она сжалась в комочек на пенке, ей было одиноко и плохо. Чутье подсказывало: с Борисом случилась беда, он не придет.

Дождь барабанил по куполу, черные кроны деревьев шатались и шумели. Когда же неподалеку выстрелила лопнувшая ветка, Fatal заткнула ладонью рот, чтобы не закричать. И вдруг наступило затишье. Ветер унес дождь, кладбище погрузилось в абсолютную тишину. Пытка тишиной оказалась куда страшнее. Fatal ждала, когда же мрак заглочит ее, и не закрывала глаза. Лампада, трепетавшая при шквалах ветра, горела теперь, как над покойником – мерно и тихо потрескивая. Этот треск только подчеркивал ватную тишину ночи.

Когда в замке неожиданно заскрежетал ключ, Fatal, ойкнув, повалилась на скамью и накрыла голову руками.

Борис бросился обнимать ее. Он целовал глаза, руки, просил прощения. Она отстранила его на миг, затем с силой прижала к груди и заревела в голос. Как сквозь туман, она слушала его рассказ. Мобильник он разбил – споткнулся, когда бежал на автобус. В Балахонье сошел за остановку до конечной, хотел купить бутылку вина. И тут наряд милиции забрал его в отделение. Он долго уговаривал ментов, что он не гомик из Москвы, а гот из Саратова. Наконец откупился вином и помчался на кладбище. Знал, что она придет.

Он вывел ее на воздух и потащил подальше от мрачного склепа на берег реки. Разжег костер, отогрел, насмешил, показывая тупого сержанта-гомофоба. И все время просил прощения.

Туман от реки доплыл до них и укутал все вокруг. Костер почти догорел, но Fatal не отпускала Бориса за дровами. Крепко прижавшись к его груди, она задремала в его объятиях, ей было хорошо. Потом взошло солнце, туман отступил и вскоре исчез.

Они шли по спящему городу к ней домой, держались за руки и болтали. На счастье, родители опять куда-то свинтили. Потом это случилось. А потом она сказала:

– Как здорово, что не в склепе, там грязно и страшно.

Провожая его вечером на автобус, Fatal вдруг остро ощутила – одиночество позади. При одной мысли, что она может потерять Бориса, ее тело покрылось гусиной кожей. Она поцеловала его в лоб. Он был холодный.

– Что с тобой?

– Боюсь тебя потерять.

И тут Fatal с гордостью ощутила, что это она держит его в объятиях, а не он ее. И не было сомнений, что все не случайно, все предопределено.

Три тени

Димка шел по переулку к первой мельнице, не оборачиваясь, знал, что «контора» в Балахонье небогата, на слежку людей у них нет. Нырнул в дырку в заборе, перешел длинный, заваленный ржавым железом двор, через выбитое окно залез в старинное здание, похожее на замок. В детстве отчим, работавший здесь сторожем, показывал ему, как устроены мельничные жернова: верхний диск вращался на оси вокруг неподвижного нижнего. Курить в цехах строго запрещалось – мучная пыль взрывоопасна, как порох. Теперь разоренный и пустующий памятник архитектуры рассыпался на глазах, как и шесть соседних мельниц, построенных при СССР. Как вся страна, отданная на откуп капиталистам.

Димка закурил и прислонился к стене. Вспомнил ту ночь. В предпоследнем классе школы ему случилось заночевать на мельнице. Отчим выпил водки и чуть его не изнасиловал. Димка саданул гада пяткой меж ног и побегал сквозь спящее здание. Страх и омерзение гнали его, не давая остановиться. Где-то далеко позади вопил отчим:

– Иди сюда, буду ноги из жопы выдирать!

Димка затаился в темном уголке. Когда истаял звук босых ног, прошлепавших рядом, он пробрался на башню. Там, на огороженной крыше, он вдруг с ужасом понял, что загнал себя в тупик. На счастье, отчим, устав его искать, вернулся в сторожку.

Димка встал у края пропасти, посмотрел далеко за реку, на поле, где в предрассветном тумане мирно пасся табун. Он думал о том, что, когда выдергивают ноги из жопы, это, наверное, очень больно. Но ветер, гуляющий по крыше, вымел из души страх. Он слушал его вой в проводах, представлял, как подобрется к отчиму сзади и, ударив бутылкой по голове, отправит на тот свет. Стоя здесь, высоко над миром людей, он на миг почувствовал себя всемогущим.

С первыми лучами солнца Димка сбежал к бабушке и, не выдержав, разревелся у нее, как младенец. Старая гладила его по голове и уговаривала:

– Прости ироду, живи у меня. Озлобишь душу – потеряешь тень, а растить ее заново трудно. Потеряешь три тени, тут тебе и крышка.

Он не понимал тогда, о чем она говорит, но ее руки успокаивали. Прощать ирода он не собирался.

Через три дня малолетки забили пьяного отчима у ночного ларька. Димка проходил мимо. Потом-то понял, что не случайно его туда занесло. Он видел все, спрятавшись за кустами, но не вмешался. Когда шакалы разбежались, подошел к окровавленному родственничку и саданул ногой в пах. Отчим умер от кровоизлияния в мозг, произошедшего от удара тупым предметом по голове.

В день похорон Димка залез на башню. Сомнения в том, что это он навлек на отчима смерть, у него не возникало. Солнце садилось в кусты за дальним полем, длинная синяя тень от башни тянулась к ним, перекинув через реку широкий мост. Здесь, наверху, он снова ощутил себя властелином мира, как бывает только в книгах. Здесь поклялся себе, что жить в Киселевке, в бараках, примыкающих к железной дороге, долго не станет. Хватит нищеты и грязи, нахлебался. В голове вдруг зазвучали слова, родилось первое, еще наивное, стихотворение – что-то о кровавой борьбе за счастье обездоленных. Потом он его забыл, но стихи начал теперь писать постоянно. В тот вечер Димка заметил, что потерял первую тень, но только беззаботно рассмеялся. Теперь ничто его не пугало.

Потом он поступил на филфак. Карманова, по кличке «гурушка», читавшая им курс мировой литературы, хвалила его лирические стихи и ругала боевые, которые нравились студентам и особенно студенткам. Окончив институт, Димка отказался от лирики. Он теперь читал Мисиму, мечтал совершить что-то столь же важное и красивое, как харакири японского писателя-самурая. Еще он учился управлять людьми. Особенно легко это выходило с девчонками: упрямство и крутость на людях, дозированная нежность наедине. Влюбляться Димка себе запретил. В голове роились сказочные планы, он решил посвятить жизнь борьбе с антинародным режимом. Гурушка была слабачка, Мисиму она презирала, обзывала фашистом.

На горизонте замаячил настоящий Гуру: поэт-бунтарь, вождь и патриот. Димка написал ему письмо и получил ответ с предложением вступить в ряды партии. Началась настоящая жизнь, жизнь профессионального революционера. Он возглавил ячейку в областном центре, постоянно писал в газету «Набат». Писал жестко, звал к боевым действиям, и это выделяло его из общей массы борцов. Да он и хотел выделяться.

Темной ночью на квартире у вождя он принес клятву самым действенным способом – позволил срезать с себя хирургическим скальпелем вторую тень, более бледную, чем та, что осталась на башне. Не многим оказывали такую честь. Вождь оценил его рвение и предложил изящную многоходовую комбинацию. Причем представил все так, словно это Димка сам все и придумал.

Димка сел в поезд. Тело помнило прикосновение рук, ощутивших его перед операцией, неприятное, признаться, ощущение. Утром оно прошло, он почувствовал себя сильным, как никогда. Настя, очередная подруга, встретив на перроне, разглядела даже слабое свечение вокруг его головы.

Затем его замели с оружием в сумке. На допросах он молчал, презрительно сжав губы. Но когда ему показали через стекло вождя, деловито продающего его палачам, Димка не выдержал. Ночью в камере он плакал в подушку, а утром сдал бывшего кумира с потрохами. Настя, дочь известного адвоката, припрягла папу, и тот вырвал любимого из рук сатрапов. Правда, пришлось подписать бумагу. Гадкую и тайную. Он получил условный срок, вернулся в Балахонье и на Настины истеричные эсэмэски не отвечал. Говорили потом, что она вскрыла себе вены. Димка предпочел не поверить слухам. Через полгода, когда стала отрастать последняя тень, явился миру. Набрал совсем молодых ребятешек, которые велись на все, особенно на громкие слова.

И вот теперь он опять пришел на свою мельницу. Хотелось покоя. Вчера, первого мая, его пацаны красной эмалью написали на стене городского музея: «Разрушим цивилизацию, чтобы создать штонить получше»! Сетевое «штонить» особенно разозлило – они играли. Стоя у стены здания, он думал о том, что скоро мальчишки вырастут, поумнеют и разбегутся. Набирать новых? Пить сок из глупых девчонок, как поет Лагутенко?

Димка отбросил бычок, прошел через цех и ступил на лестницу, как вдруг услышал сзади топот босых ног. Он ускорил темп, босоногий тоже прибавил скорости. Страх ударил под дых, как в тюрьме, когда следак пообещал отдать его уркам на поругание. Рванул вверх, на спасительный воздух и долго и тяжело дышал на площадке. Встал спиной к люку, уставился вдаль,

надеясь, что вид леса и реки отвлечет от наваждения. Шлепанье босых ног раздавалось теперь совсем отчетливо, преследователь был совсем близко, Димка боялся повернуться. Но нужно было встретить врага глаза в глаза. Он чувствовал кожей, что тот уже за спиной. Подмышки вспотели. Теперь Димка доверял только малому самурайскому мечу, который выхватил из-под пиджака, резко крутанувшись на пятке, чтобы опередить и напугать босоногого. Перед ним, подняв руки, словно готовилась заключить его в объятия, стояла бледная третья тень на трясущихся от страха ногах. И тогда, повинувшись вспышке безудержного гнева, он набросился на нее и кромсал, отрубая бескровные куски, пока не изничтожил. Потом пинал ногами в водосток останки, похожие на куски почтового картона. Они планировали на ветру, разлетаясь в разные стороны и исчезая в кустах у реки.

Ветер растянул его губы в злую гримасу, вымыл гнев и опустошил душу. Она вытекла из глаз и застыла у ног лужицей бесцветного силиконового клея. Ноги и руки стали как чужие. Он приставил клинок к животу, но не смог удержать тяжелую сталь – меч скользнул по кровельному железу и исчез в водостоке. Тогда Димка снял ботинки, ступил на усыпанную каплями недавнего дождя крышу, повернулся к люку и начал аккуратно спускаться вниз по крутой лестнице. На отполированном временем дереве мокрые босые ступни не оставляли следов. Он этого даже не заметил.

Мед и молоко

Сон был освежающим, успокаивал нервы и восстанавливал силы, которых лет двадцать назад еще было хоть отбавляй. Теперь, после шестидесяти, Ёлкин был все еще крепок, утратил только рыжую шевелюру, сохранив на голове пушок, почти такой же, как на теле. Наталье его волосатость нравилась.

Она приехала в Балахонье преподавать в пединституте античную литературу. Он полюбил ее и ее древние стихи тоже. Жена приходила с работы раздраженная, студенты прозвали Наталью «Зевсикой», гекзаметры вызывали у них смех и зевоту. Ёлкин встречал жену у плиты, поднимал сковородку с едой на уровень груди, произносил: «Возьми на радость из моих ладоней// Немного солнца и немного меда,// Как нам велели пчелы Персефоны...». Наталья бросала сумку с тетрадами в угол и заявляла: «Я люблю тебя, Ёлкин, давай жрать!» Потом мечтали: купят домик, он разведет пчел, раз не получают дети. В советские времена пчеловоды отлично зарабатывали. А Серега Ёлкин преподавал в политехе сопромат за сущие копейки.

Резкий звонок мобильного разбудил его. Это означало, что Алена скоро приедет. Медленно почесываясь, разминая затекшие ноги и руки, словно счищая с тела остатки клейкого вещества, выкарабкался из логова. Долго мыл лицо, чистил зубы пастой со вкусом затхлой мяты. Другое дело летом – мята пахла опьяняюще, бодрила. Он мог распознать ее легкий прохладный аромат из сотен запахов округи. Одежда, открыл банку «Вискаса» оголодавшим котам. Коты, сидевшие на мышиной диете, заурчали, предвкушая пиршество. Мобильник зазвонил снова. Алена ехала с журналистом, которого интересовало становление фермерства в 90-е.

Жена жила в городе, а он давно обосновался в деревне. По негласному договору Алена не приезжала зимой без нужды. Появлялась весной, когда он начинал красить ульи в белый или голубой – любимые пчелиные цвета. Пчелы видят до тридцати оттенков, недоступных человеческому зрению, а вот красный путают с черным. Раньше Алена охотно слушала его истории, потом перестала. Летом она наезжала в деревню, полола огород. Читала то, что не успевала прочитать за учебный сезон. Он трудился от зари до темна, как и его пчелы. Работы было много. Вечером садился к пианино. С первыми звуками глаза Алены затуманивались, раздражение испарялось. Иногда она робко заводила разговоры о переезде в Балахонье. Серега молча шел спать вниз, она – вверх, в комнату, что он отстроил ей, как обещал. В 90-е они успели купить каменную коробку, потом денег не стало, только от меда. Не деньги – слезы.

Отдавая ей выручку, говорил: «Слезы бога Ра». Так называли пчел древние египтяне. Себе оставлял самую малость. Преподавательской ставки на жизнь не хватало. Алена моталась в Урюпинск с лекциями, но коммунальные платежи съедали треть заработанного.

Алена привезла толстого московского журналиста. Ёлкин стоял в дверях веранды, обитых на зиму старыми ватниками, поеживаясь от морозного воздуха, подставлял лицо набравшему силы солнцу.

– Что ты тут наколотил? – супруга указала на двери.

– Пчелы сильно запечатали летки к суровой зиме, ну и я подготовился.

Жена выложила на стол вареную курицу, хлеб, чай, сигареты.

– Схожу на реку, а вы тут разговаривайте.

В 1992-м, когда разрешили фермерство, Ёлкин первым отхватил землю. Тогда многие мечтали и строили планы. Он начал рассказывать про кредиты под двести процентов, съедавшие людей без остатка, про соседей, братьев Честноковых, которые успели взять кредит раньше всех и отдавали уже обесцененными деньгами. Машинный парк получили ни за что. А потом поверили аферистам-перекупщикам – те обещали быстро отдать деньги за зерно, но, как водится, не отдали, а просто сгинули. Пришлось братьям расплачиваться комбайном, ведь под ожидаемые от продажи зерна деньги они снова ввязались в кредит. Едва ушли от чеченских вышибал. Поднялись снова на пшенице, опять купили комбайн, постарше первого, но разорились по неумению на бирже. Начали выползать, и тут старший погиб в автокатастрофе, а младший с отчаяния повесился. Или казачки помогли. Хозяйство выкупили приезжие, люди неплохие, но без связей в администрации, а потому еле сводят концы с концами.

– Вы же были председателем фермерского союза?

– Был. Только на земле ни дня не работал. Деньги закрутили. Действовал по тогдашним схемам. Покупал – перепродавал технику. Потом мыкался с городским АТП – досталось за гроши, но все съели запчасти и налоги. Под конец сумел взять кредит в двенадцать миллионов. Восемь прилипло к рукам, но упал как снег на голову Колька Петухов – казачий атаман, крест целовал, взял мои восемь да у Честноковых два миллиона. Просил на месяц, а пропал на два года. Братья выбили из него кафе «Чайка», я б не сумел. Но потом кафе сгорело – подожгли конкуренты.

– Зачем же брали землю?

– Думали – накормит. Но ввязались и быстро поняли, что крутить деньги выгодней. А потом поехало, навалились налоги. А в 90-х налоги драли со всего. Девчонки из налоговой в новой системе не разбирались, мы тоже. Дикий лес был, и мы в нем – партизаны. Я теперь и сам не понимаю, зачем землю брал. Наверное – романтика...

Вернулась Алена. Накрыла стол. Сергей съел куриное крылышко – отвык от мяса. Кости отнес котам.

Приехавший напросился в зимник. Пришлось вести в соседнюю избу, где начинали жить с Аленой. Теперь здесь пережидали холода пчелы.

– Я дверь открою, свет зажгу – двигайтесь без суеты, не шумите, пчелы все слышат.

Толстый журналист сунул нос, оглядел стоящие, как гробы, ульи, занавешенные окна.

– Весной восстанут с солнцем.

– Что ты их обожествляешь! – не стерпела Алена.

Рассказать, что он тут чувствовал, что слышал? Отвезли бы в дурку и, наверное, были бы правы.

На этом визит закончился. Присели на дорожку.

– Самогон из меда гоните? – спросил москвич.

– Пил, когда в АТП работал, теперь мне не надо.

Поймал взгляд Алены, опустил голову.

– Езжайте к теперешним фермерам, есть люди – поднимаются, даже заграничную технику закупают. Кредиты ж почти беспроцентные. Просто мое время кончилось.

Журналист сказал, что мед продается в Москве на каждом углу, а качественный или разбавленный, потребителю по большей части наплевать. Ёлкин смолчал.

На веранде, пока муж их не слышал, Алена кивнула на непроданные банки: «Торговать мой Ёлкин не умеет. Он, как ребенок, упрямый». Лицо пошло пятнами, она отвернулась, смахнула слезы. Москвичу стало стыдно, он пошел к машине, поднял капот, для виду почистил клемму. Дома, когда живое возродится в ином качестве и станет литературой, – другое дело, а сейчас уши горели, словно их покусали пчелы.

Подошли успокоившаяся Алена с Ёлкиным. Села в машину. Помахали Ёлкину на прощание, а потом сидевший за рулем сосредоточился на дороге – колея была о-го-го.

Ёлкин закрыл веранду. Затворил дом, повесил одеялами окна. Прошел мимо неприбранной кровати в угол, к бидону с медом. Стремительно уменьшаясь в размерах, успел запрыгнуть внутрь и захлопнуть алюминиевый кружок с резиновой прокладкой, как соту запечатал.

Маленький, пушистый, устроился в логове. Мед грел, убаюкивал. Замелькало мультиками прошлое – АТП, пачки денег, бабы в бане и гогочущий зам главы администрации. Погоня за убегающим Петуховым, лес, младший Честноков, сующий казаку в разбитый рот черный ствол, дарственная на кафе. Запой в «Чайке», бьющаяся в истерике Алена...

Сегодня она приехала в майке с надписью «Брошу все – уеду в Урюпинск». Там предлагали кафедру, деньги, жилье. Не раз грозились. Он обещал ей круиз по Средиземному морю в ее любимые Афины. Не вышло. Говорил ей: «Мед и молоко под языком твоим», цитируя Песнь песней. Она пахла медом и молоком. И сейчас пахнет.

Мед и молоко... Он подумал о целебном молочке, которым поят вырастающих маток... Пчелы шептались о том, что зимой случилось много подмора, значит, будет хорошая ройка. Они уже готовились. Теперь считается, что допускать роения нельзя. Глупости. Всех поймает, всех пристроит. Все образуется. В голове загудело, словно над домом завис садящийся самолет, – он услышал великую мощь роя. Древние кельты обожествляли пчел, считали, что рой несет в себе таинственную вселенскую мудрость. Ёлкин хорошо понимал древних кельтов. Глаза закрылись. Он вдруг понял: в Урюпинск она не уедет.

День рождения

В общий вагон проходного московского Тоня села в четыре утра. В восемь будет на месте. Сэкономить не лишне, да и не впервой. Семь лет уже они встречаются на Каткином дне рождения, после того как подруга вернулась, разведясь с Салаватом. Поспать все равно не получится, в это время там всё храпит – пятница, гастарбайтеры едут домой, провести семьи. Но там, где храпят, – мест нет. Есть там, где еще допивают. Устроилась по-турецки на боковом, раскрыла ноутбук. Мужики в купе матерятся грязно и неумело, на полу мусор, на столе бычки, из другого конца вагона магнитофон надрывается: «Велком ту Москоу, велком ту Раша// Пушкин, Гагарин, Ростова Наташа».

Ладно, подумала, «Москоу» уже покоряли – Катка в консерватории, они с Аленой на филфаке. А родное – не замай, русский народный студентки в полевых условиях узнавали, в экспедициях, от старых частушечниц и тертых эков. А этих-то кто правильно материться научит – Наташа Ростова или Олег Кошевой?

На четырнадцатом километре поезд остановился посреди поля. Место это считалось в Балахонье нехорошим – ни жилья, ни дороги. Неделью назад тут нашли труп гастарбайтера с пробитым черепом. Тоня посмотрела в окно, но ничего подозрительного в темноте не разглядела. На небе светили звезды, в вагоне воняло, ей захотелось на свежий воздух, но пришлось, уставившись в компьютер, тюкать статью «Последний из молокан» для интернет-газеты.

В понедельник – крайний срок, приходилось спешить. Она, родимая, и кормит, не казенная же богадельня – университет. В деревне Котоврас, в тридцати километрах от Балахонья, несколько человек, кажется, еще придерживаются старинной родительской веры. Тетя Клава Морозова, ее дальняя родственница, собирает по воскресеньям бабулек – читают писание, поют гимны. В XVIII веке зародились в Балахонье протестанты из крестьян – правдоискатели и начетчики – да почти все повывелись. Не пили, не курили, в пост позволяли себе молоко. Завели свои священные книги вдобавок к Библии, старались никому не досаждать и делать добрые дела. Понятно, что сперва их потеснили попы, а окончательно добил революционный матрос, обмылок коего в купе смотрит теперь на нее поверх стакана волком. Ниче – не съест.

Райцентр Чурки, где живет Катька, – большая деревня, зато находится на полпути между их городами, Тониным Балахоньем и Алениным Урюпинском. Вернувшись в Чурки, Катька пошла регентшей в церковь, стала жить с мамой и котом Васькой. Сын Саня в Москве – играет на гитаре в рок-группе Свята Эльгреко. На самом деле Свят – это Колька Прокопьюк, Санин одноклассник, но, в отличие от мамы и ее подружек, Москву мальчишки, похоже, покорили.

Тоня сошла с поезда, втиснулась в автобус. Теперь главная забота: не раздавили бы ноутбук. Перед ней два мордоворота лет под тридцать, черненький и светленький. Сидят, развалившись, ну, прямо Пушкин с Гагариным. Тут автобус тряхануло, она изо всех сил вцепилась в поручень, что-то хрустнуло в руке, и сумка с ноутбуком полетела на мужичков. Тоня рефлексивно извинилась.

– Ничё-ничё, подержим.

Едет дальше, офигевает от ситуации, больную руку здоровой поддерживает, а они лыбятся, но место не уступают. Развернуло ее как-то боком. Типа, «правое плечо вперед!» Еле до Катьки добрела. Алена уже там. Отправились в травмпункт. Ручьи текут, мостик горбатый через речку, теплынь, того гляди, сирень распустится. Добрый доктор, как ее увидел, запел: «Я милого узнаю по походке». Такой, говорит, крен только при вывихе плечевого сустава бывает. Хруст, когда он его вправлял, слышали все трое, а Тонин крик разорвал тишину райцентра и распугал ворон на деревьях – залетали над больницей, что «мессершмитты» на рассвете.

По дороге домой завернули в аптеку, купить анальгетиков. Катька резко рванула дверь, от чего Алена прищемила указательный палец, да так, что ноготь почти отскочил. Набрали лекарств, побежали Алене палец обрабатывать. Катька всю дорогу прощения просит, еле отпоили дома валерьянкой.

Успокоились чуть-чуть. Тут позвонил муж. Сказала про плечо, он вроде как рвался приехать, но почувствовала, что компьютер любимый ему бросать не хочется, да и ухо еще болит. Отговорила. Полежу, сказала, справим день рождения, девчонки на поезд посадят.

Катька с Аленой услышали:

– Что с ним?

– Отит. И дочка, сволочь, четыре дня не звонит, опять на сносях, залегла в своем Бирюлеве, до родителей дела нет.

Катька только хмыкнула: ее Саня неделями на эсэмэски не отвечает, бабло на концертах косит и любовь с фанатками крутит. Гнесинку почти забросил, выгонят – армия тут же схряпает. Еще и кот куда-то пропал. Весна, у него тоже загул.

Тут-то кот Васечка и появился. Шатает его из стороны в сторону, морда рассечена, около глаза длинная рана, и кровь оттуда прямо хлещет. Короче, в боях получил зверюга тяжелое ранение и собрался умирать.

Хронотоп: райцентр, пятница, вторая половина дня. То есть аптеки уже не работают. Кота – в контейнер и к ветеринару. Стучатся в дом. Дверь на одной петле еле держится. Выходит жена.

– Мой – пьяный в дым. Да и не по котам он, а по коровам и лошадям. У соседа сегодня лошадь скинула, там и напоили.

– А лошадь как?

С гордостью в голосе:

– Отстоял!

Стали прямо с улицы звонить в Балахонье знакомому ветеринару Диме. Тот говорит, везите сюда, а кровь не унимается. Смиловителен: давайте рассказывайте, где рана, чтобы понять, не задета ли артерия. Сфотографировали на мобильный, послали фотографию развороченной морды. Дима по телефону продиктовал назначения, сказал, чтоб обязательно обработали рану обеззараживающим раствором и кололи гентамицин по полкубика.

Каткина мама дозвонилась в местную больницу, объяснила ситуацию. Там умилились, сказали, чтоб приходили скорей, дадут антибиотиков и шприцы бесплатно.

Пошли по той же дороге, что и утром. Закат, деревня, темень надвигается, а фонари местные жители продали на металлолом.

Вдруг звонит Тонин мобильник.

– Здравствуйте, это Александр, Димин научный руководитель. Дима мне переслал фотографию кота, у меня был схожий случай в практике. Постарайтесь избежать гентомицина, колите только телазин. Это единственный антибиотик для животных, который доступен в нашей глубинке – те же полкубика. И еще обязательно пятипроцентную глюкозу – от слабости.

И так обстоятельно начал объяснять, что могло быть задето, с примерами из личной практики. Тоня поблагодарила, стала срочно прощаться. Знала, что учился Дима в Питере.

– Вы же, – говорит, – из Петербурга звоните?

– Вообще-то, – отвечает этот Александр, – я звоню из Берлина.

В больнице укололи кота, промыли морду. Домой его понесла, ясное дело, Катка – у Алены палец ныл, а у Тони в плечо отдавало на каждой кочке. Словом, калики перехожие, иллюстрация к народному лубку.

Только пришли домой, Катке на мобильный начал истерически названивать Саня из Москвы. Эсэмэску прочитал.

– Ма, что с котом? У нас сейчас антракт. Все ребята волнуются, а Свят ваще на стену лезет, говорит, петь не может.

Потом уложили Ваську на топчан. Котяра на них ноль внимания. Сели пить чай. Молча жевали баранки, макали их в мед. И тут дикая трель на домашний. Звонит бывший Каткин муж из Индии.

– Что, коту полегчало?

Катка изумленно:

– Ты-то откуда знаешь?

– Саня в антракте позвонил, я мантру соответствующую спел.

Катка вызверилась:

– Ты бы мантру пел, когда мне осенью операцию полостную делали.

Салават, когда учился с Каткой в консе, был подающим надежды скрипачом, а сейчас издает в Москве эзотерический журнал «Аюрведа» на деньги бывшего мужа-банкира его нынешней спутницы жизни. Журнал выходит нерегулярно – только когда деньги переводят, и в свободное время они торчат во всяких там ашрамах. Но кот вроде как и правда слегка ожил.

Утром поздравили Катку с днем рождения. Котяра, шатаясь, подошел к миске, еле челюстью двигает, но ест – настоящий мачо!

Нарубили овощных салатов – на дворе Великий пост. Попировали без спиртного, Катка потащила их в церковь на соборование. В церкви Тоне было уютно. Каткин хор пел замечательно. Батюшка маслом ее помазал. Все как надо.

Вечером – звонок. Муж.

– Тонь, может, ты завтра утренним поедешь, мне уже жрать нечего.

Собирались уезжать в понедельник, а поехали в воскресенье. Сперва проводили Алену в Урюпинск, у нее автобус раньше их поезда. На вокзал уже ехали на такси, автобусы городские Тоня теперь долго будет бойкотировать. Катька, конечно, поехала с ней – к Диме на прием. Теперь кот поездку выдержит, сомнений нет.

Поезд тронулся, плечо отозвалось на толчок и заныло, Тоня ойкнула, а Ваське хоть бы хны, даже не проснулся. Посмотрели они с Катькой друг на друга, и такой на них напал хохот, до слез.

Сука

За окном лужи со снежной кашей и ветер. Ветер – зверь, злой и мокрый, словно не из-под тучи налетел, а выполз из подземелья и не успел отряхнуться, царапает ветками по стеклу, «ширьх – ширьх», как ножиком по тарелке. Выглянешь в сумерках из натопленного помещения, и утянет ветер, пожрет, косточки не оставит.

Антонина Ивановна отложила страшную книжку. В теплой кашемировой индийской шали, в мягком кресле, под оранжевой лампой было так хорошо. Поставить бы Вивальди, сварить фруктового зимнего чаю с медом и каплей коньяка, но надо отважиться выйти наружу, на едва освещенную улицу. Надо топать по обледенелой мостовой, смотреть, куда ногу поставить, чтоб не улететь в лужу, не сломать руку, как в прошлом году. В половине девятого девочки придут на консультацию (завтра экзамен), а к чаю ничего. Чай московский, из специального магазина, но ведь ни сушек, ни пряников, даже хлеба ни крошки.

Что она такое расскажет им за час, если за год не усвоили? Мамы с папами платят за образование, вот они и не надрываются, да и читать им, увы, неинтересно. Ну, прозвали ее «гурушка», вроде как выделили, любят даже, пожалуй, и что?

Недавно студентка в разговоре заявила с пафосом:

– Советский Союз развалился из-за Октябрьской революции!

Если подумать, глубоко копнула. Знала б она, когда рухнул СССР и когда была та революция... Еще и обиделась, когда спросила.

За платный курс подкидывают денег. Без них при зарплате в шесть тысяч и на чай не хватит. Приходится еще подрабатывать в интернет-газете. Антонина Ивановна три года ищет провинциальные сюжеты. Балахонскую жизнь не идеализирует и в чернуху не впадает, но выдохлась.

Она встала, надела дутую куртку и вязаную шапку. Полкилометра до гастронома, полкилометра назад. Плевать на ветер!

Купила в «Магните» сыру, подозрительный паштет в банке, лимон, пачку масла и пряники. С хлебом повезло – попала на вечернюю партию, только из печи. Откусила сразу, еще у окошка пекарни – не вытерпела. Глаза зажмурила, кайф! И вдруг почувствовала, смотрит кто-то, прямо в спину уставился. Неудобно, рот набит хлебом, проглотила поспешно, обернулась. Псина! Вислоухая, борода седая, но с примесью благородных охотничьих кровей. Ноги сухие и правильно поставленные, брюхо с набухшими сосками, сама худющая – лист фанеры, а глаза смышленные, покрытые от вожделения масляной пленкой. Антонина Ивановна еще батончик белого прикупила, протянула псине. Сука взяла подарок, как младенца, бережно, только слюна предательская с губы на асфальт упала, горячая, как хлеб. Есть на виду не стала, попятилась, глаз с благотельницы не сводя, повернулась и скрылась в темноте.

И сразу у Антонины Ивановны поднялось настроение, мигом долетела до преподавательского общежития, включила на кухне свет, поставила чайник, накрыла на стол. Скоро и девочки пришли. Умяли торт и мандарины, что сами принесли. И бутерброды с маслом и паштетом. И сыр. И чай фруктовый. И пряники. Позавидовали: у Антонины Ивановны всегда есть что-нибудь московское, вкусное, чего у других не попробуешь. Перемыли посуду, пересказали

курсовые сплетни – на том консультация и закончилась. По темам экзамена вопросов не задавали, а зачем?

Антонина Ивановна проводила их, отключила плитку – боялась на ночь ее оставлять. Залезла под ватное одеяло. Долго не могла заснуть. Ворочалась, вздыхала. Потом включила ночничок, почитала Чарльза Линдли «Книгу привидений лорда Галифакса». О призрачном пассажире, о бежевой леди из Бертон-Агнес, о мальчике-слуге из Хейна. Милые английские сказки о потустороннем. Их персонажи – тени судеб, отстраненные, эдакие марионетки в площадном театре, – казались живее иных героев реалистической прозы. Подернутые легким туманом с вересковых болот рассказы пугали и притягивали, как густой тусклый блеск полудрагоценного камня, идущий из самой глубины, словно в нем застыл чей-то печальный выдох, сгустившийся за столетия.

Проснулась Антонина Ивановна по будильнику в семь. За ночь в комнате стало холодно. Вскочила, запрыгнула под душ. Затем выпила чашку кофе, выкурила первую сигарету и побежала принимать экзамен.

Освободилась в шесть. Две девочки из двадцати что-то еще могли рассказать, остальные молчали или лили слезы. Она давно на их слезы не покупалась. Зачем давать списки литературы для домашнего чтения, если они книг не читают?

– Фаблио – бедный испанский дворянин, родившийся в горном поместье, далеко от столицы.

Она захохотала и поставила четыре за фантазию: фаблио – жанр коротких новелл, но никак не фамилия автора. Девочка с красивой кличкой Fatal сплела биографию, с таким же успехом могла бы, наверное, написать и повесть в стиле фэнтези. Может, и станет еще писать, если не найдет работу. Эта хоть что-то придумала.

И так – целый день, без обеда. Устала, голова заболела от голода. Побрела сдавать ведомость. Поржала с коллегами над историей бедного Фаблио. Потом – в магазин за курицей. Горячий бульон с гренками мерещился ей весь экзамен. Проголодалась как собака.

Дома сразу обнаружила: нет индийской шали, подарка от мужа. Муж год, как сбежал, а тут вот и шаль потеряла. Вот халда, наверное, оставила в аудитории.

Как же она неслась! Студенты теперь друг у друга мобильники воруют, что ж говорить о шали.

Влетела в институт. В аудитории пусто. На кафедре – тоже. Только женщина в халате моет в коридоре пол. Окликнула ее:

– Вы, случайно, не видели шаль, индийскую шаль в огурцах.

– Знаете, вещь дорогая, не дай бог, украдут, я припрятала.

Антонина Ивановна эту уборщицу не знала. Похоже, из переселенцев – в ее речи слышался незнакомый говор, а старинный сердоликовый перстень с печаткой указывал на то, что не всю жизнь она мыла полы. Среднего росточка, плоская, как доска, груди отвисшие, перехваченный пояском халата впалый живот, прямая линия спины, лицо худосочное, седая прядь спадает на глаза. Она походила на куклу-марионетку, на которую пожалели ваты. Только глаза прорисованы четко: умные и грустные, они глядели пристально, словно женщина собиралась что-то спросить. Но не спросила.

– Спасибо вам огромное! – Антонина Ивановна едва не расплакалась.

Уборщица кивнула головой, повернулась и, невесомая, уплыла в туалет к своим ведрам-щеткам. На следующий день Антонина Ивановна купила коробку конфет. Стала выпрашивать о новой уборщице: кто такая, как зовут? Завхоз института от удивления даже всплеснула руками:

– Какая новая? Никого не нанимали.

Антонина Ивановна подошла к окну. Сказать кому, решат, что начиталась Чарльза Линдли. Она глубоко вздохнула и вдруг замерла. На улице шел снег. Крупные хлопья отвесно

падали на землю. Стены домов, чуть подсвеченные слабенькими лампочками над подъездами, выступали из полумрака, линии стен и тротуаров казались вылепленными из папье-маше. Улица вдруг стала декорацией площадного балаганчика, прекрасным волшебным макетом. По пушистому девственному снегу бежала та самая сука. Бежала, не оборачиваясь.

Последний из молокан

Толстый московский журналист искал в Балахонье молокан. В двадцатые годы прошлого века Борис Леонидович Пастернак сорвался сюда к женщине со странной фамилией Виноград, предложил ей руку и сердце, но получил отказ. В результате родилась книга стихов «Сестра моя жизнь», где упомянуты «большие шляпы молокан». Они запомнились поэту, прощавшемуся с городом и несостоявшейся любовью из окна вагона. Шляпы вошли в русскую литературу, как и неведомая до той поры энергия молодого человека, переплавившая несчастье в победу над вечностью.

Балахонская знакомая говорила, что в деревне Котоврас половина населения исповедует молоканскую веру. Почитав книги по теме, журналист думал, что застанет православную половину деревни спившейся, а другую – зажиточной: молокане не пьют вина, не курят табак и много работают.

На въезде в деревню встретился мужичок в драном ватнике. Он рассказал, что раньше молокан в Котоврасе было много, но теперь почти все они переселились на погост. Десять лет назад в деревню провели газ, а молодежь все равно почти вся сбежала в Москву. Возникшее в девяностые фермерство отважившихся выбрать этот путь не сделало богатыми. Они постепенно беднели, и теперь двенадцать мелких хозяев сбились в артель – поодиночке обрабатывать землю стало невыгодно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.